

## 1

**Г**нев — он же до гноя доводит, до воспаления аппендикса. Ненависть в себе носишь, кипишь, копишь. А выплеснуть не моги. Вот он — вражина — рядышком, сытая морда. А треснуть не моги. Ох, как хочется треснуть и взглянуть на изумление в глазенках-буравчиках. Очки черенькие, поди за пару штук баксов, так бы и подскочили на лоб, на лысенку и с лысенки под ноги. И ботиночком лакированным с хрустом бы их раздавил в изумлении своем: это кто ж на такое решился, чтоб по кумполу? Это что, бессловесный, гуттаперчевый Семеркин, вещь, холуй, придаток механизма? Да... Мечтай, Семеркин. А тронуть не моги. И на кой фиг ему очки темные в пасмурный день?

Дождик моросил. «Майбах» летел по трассе в упоении: свежее покрытие, четкая разметка. Редкие встречные автомобили в мареве мелькают призраками, вспышками воображения. А чтоб обогнал кто... Нет таких. «Майбах» несся по прямой, изредка косясь на водителя. Но тот вовсе не думал об управлении, гнев копил и мечтал о мести.

Мстить, конечно, охрана не дозволит. Но по приезде рассчитаться к чертовой прабабушке, по

собственному желанию, непременно, непременно, немедленно. Вот свозит бонзу в столицу — и по возвращении расчет. Потому что такое стерпитя, но не простится. Ведь нелюди — они не люди. Есть вещи в жизни — экваторные, моменты истины, вешки, по которым определяется справедливость, гнилость твоя или совесть. А с этим нелюдем и сам он, Семеркин, загнивать стал. Потому что когда в прошлом году побоялся отпроситься в Опочку на похороны друга, просто спросить побоялся, зная последующий говенный отлуп, то и он сам, Семеркин, разменял себя и дружбу. И острой иголкой воткнулся стыд в сердце — не по-христиански с дружкой детства. Али мы не православные... А теперь вот решился заикнуться о неделе отпуска — жена на сносях — и что получил? Вспоминать не хочется. И вот едут в столицу по срочным делам, на неделю ли, на две ли, а позади за спиной на Псковщине женины причитания, тещины упреки. Тоже вспоминать не хочется.

«Майбах» вильнул, зайчонка объехал. Водитель очнулся, выправил руль. Пассажир открыл глаза, недовольно поморщился.

— Семеркин, на ассенизатор пересяжу.

Водитель горбуном сделался.

Пассажир снял черные очки, вложил в футляр крокодиловой кожи и убрал в саквояж. Откинул голову на подлокотник и снова принялся дремать. Нет, не спалось. В столицу этой ночью его погнало гнев, раздражение, ощущение близости позора, оскорбленное «я». В городе и области шла смена «хозяев». И его задвинули так беспардонно, так технично, что не успел он закончить полового акта с профессиональной девочкой, как две трети его бизнеса уже отжали. Жаловаться на месте некому. Шанс оставался за протекцией в Москве, и то при благоприятном раскладе. Конечно, он еще и сейчас не по миру пущен. Но навязшее в зубах слово «беспредел», коснувшееся теперь его самого, усугубляло разрушение изнутри.

Кроме возмущения, подспудно щемило что-то неопределенное, чужеродное, обтекаемое, еще не вылитое в понятную, цельную форму. Будто инородным организму телом завелась дурная мыслишка. И кабы она определилась во фронду, в оппозицию, стало бы куда легче. Он понял бы, чем заражен, читай, как бороться. Он вовремя бы спохватился. А тут только ломкий шепоток — «все к лучшему», отрывистость эха — «гори оно синим пламенем, пламенем, пламенем», припадочно — «мы все живем внутри чьего-то пророчества», издевочкой — «ку-ка-реку» — крик петушиный, загробный. Он дергался, выскакивал из дремоты, озирался, искал прошептавшего, прокукарекавшего. Но кроме горбуна Семеркина, уставившегося в лобовое стекло, никого не находил возле.

## 2

**Ч**екмаревы и Рославцевы на Преображенку переехали в один день. Стали соседями по лестничной площадке пятиэтажки. Дети их — сверстники — будто только и ждали новоселья, тотчас сдружились. Рудик Чекмарев верховодил, Кешка Рославцев под ним ходил. Рудик слыл за зайкой, но умел при выгодных обстоятельствах делиться первенством, Кешка не во всякую вагату бездумно вступал, мог обосновать свое отступление. Жили звонко, спешно, второпях, любя район, город и загород, любя лес, походы с песнями у костра, ночи в шалаше, сплав с родителями на байдарках в летние каникулы, любя крымские турбазы, пионерлагерь «Солнышко» в Солотче, осенние вылазки за грибами в Подмосковье, любя конькобежные гонки на «коробочке», катания в лодках с веслами на «Архирейке», бег на водных

лыжах в Сокольниках, любя набег в Ботаничку за сиренью, любя мир и жизнь.

Играли в «ножички», в «казаки-разбойники», плавил свинец за гаражами, биточки тяжелые набивали для «классиков», медальоны плавил из нагретого целлофана. Мало ли мальчишечьих дел. Вечерами встречали отцов, латали камеры, правили спицы. С девочками тогда еще едва знались.

Вход в каждый из пяти подъездов их дома был с одной ступенечки, а за домом пристроены три высоких крыльца в шесть ступеней. С одного крыльечка вход в библиотеку, с другого — к управдому, с третьего — в красный уголок, где проходили товарищеские суды. Под вечер все три казенных двери запирались, и тогда у ребят появлялись три площадки для игр вдали от взрослых. Левое крыльцо занимали девчонки, правое — мальчики, а на среднем, ничейном, сходились изредка те и другие. Как-то под вечер на девчачьем крыльечке болтала ногами четырехлетка Галка из пятого подъезда. Чумазая от грязных семечек, зажатых в кулачке, с растрепавшимися из косички волосенками, со сползшими гольфиками и, о чудо, с огромным бело-розовым веером в правой ручонке. Всех девочек уж по домам выкликали, а Галка все не уходила, не нахвасталась еще своим сокровищем. Тут Рудик с Кешкой подъехали на «школьниках», лихо заскрипев резиной на вираже.

— Ей, чего это у тебя? — Рудик приглядывался к красивой вещице.

— Веер! — Галка с готовностью показала, как складывается и разворачивается ее драгоценность.

— Дай подержать! — Рудик протянул руку, не слезая с велосипеда.

— Неа... Мама не велела никому давать.

— Откуда у тебя?

— Дядя Назимов с Кубы привез.

— Дай на минуточку!

— Девчачья забава, — удивился Кешка. — Чего пристал?

— Я один кружок вокруг дома с ним, ладно? — Рудик, не дожидаясь ответа девочки, закрутил педалями. Кешка за товарищем.

Галка ждала на крыльечке до темноты. Семечки просыпала на ступеньки. Кулаками вытирала щипкие слезы. Сестра с мамой еле отыскивали ее за домом и никак не могли утешить. Даже ругать недотепу жалко. А когда Галка уже спала, в дверь их квартиры постучали, потом позвонили. Отец вышел на лестницу — никого. Хотел уж было выругаться на хулиганов, да чуть не наступил на веер возле половика. Когда дверь квартиры захлопну-

лась, мальчишка, притаившийся этажом ниже, бегом спустился вниз и перебежал из пятого подъезда в свой второй. И ему пора было спать, только перед сном прочитать следующую главу про Тома Хаттера. На чем вчера закончилось? «Вдали темнел на сваях Замок Водяной Крысы, рядом с его пирогой на серебрястой глади колыхалась еще одна, озеро безмолвно лежало в ожидании восхода солнца». Только приключения Зверобоя отвлекут Кешку от грустного события прошедшего дня — сегодня они впервые поссорились с Рудиком, даже подрались.

В десятом, когда всю шла подготовка к экзаменам, их одновременно накрыло влюбленностью. Влюбились в одну девочку, сначала все-таки Кешка, опрометчиво поделившийся чувством с другом, почти сразу за ним Рудик. Их пассия — семикласска, окруженная свитой сверстников-малюток, — к четвертой четверти расцвела эдельвейсом, неведомым цветком среди лютиков и мать-и-мачехи. И так заметно, так наповал своею хрупкостью проникла в мысли, сны, разговоры, что оба мальчика казались окружающим — дома, во дворе и в школе — занедужившими, выпавшими из действительности. У них каким-то образом вдруг сделались схожими повадки, появилась одинаковая отрешенность во взгляде, привычка отвечать вопросом на вопрос. У них образовалась такая одинаковая сутулость и обреченная походка, что иногда казалось, будто с футбольной «коробочки» или от турника скучливо уходят не два паренька, а один шаркающий старикашка.

А Галочка, ничего особого не замечая, с охотой откликалась на предложения сплавить на лодке по «Архирейке», сбегать на поздний сеанс в «Янтарь», покататься на колесе обозрения в Сокольниках. И даже, когда пошла на свидание с другим мальчиком — лидером параллельного класса, — спокойно приняла, что весь вечер за ними шагах в двадцати таскалась парочка оруженосцев — Рудик с Кешкой. Только пригласившему не приглянулся патруль, и больше он почему-то не предлагал Галочке встречаться. Вскоре рыцарский дозор стал так привычен всем и в школе, и во дворе, что и остальные Галочкины ухагеры отпали сами собой, о чем она, собственно, не жалела — дружба



с выпускниками выделяла ее среди девочек класса. И только одно обстоятельство досаждало: в глазах ребят она прочла слово «пора». Ей предстояло сделать выбор. Галочка колебалась. Ей нравились отдельные качества в каждом: вот бы их соединить. Но качества не соединялись, а даже проявлялись в каждом все ярче и резче. В Рудике раздражало зазнайство, в Кешке — нерешительность. Рудик вечно поддевал, Кешка задаривал обожанием. Рудик про ее желтое в крупную зеленую клетку пальто насмешливо цедил «зимой и летом одним цветом», а Кешка не замечал даже нового джинсового костюма, который она порвала в первый же день, катаясь на велосипеде и позабив зацепить брюки-клеш прищепкой.

И уже отметив с ребятами «последний звонок», едва не дойдя до дня их выпускного, Галка сделала выбор. Она еще не призналась, но все же определилась. Предстоящий отъезд на вторую смену в лагерь под Евпаторией совершенно отчетливо подсказал, о ком станет скучать. И Рудик разгадал свое фиаско прежде наивного победителя. И тогда он не намеренно, никак не назло, не нарочно, а подчиняясь какому-то физическому порыву, подспудной вековой силе собственничества, открыл Галке глаза на своего соперника. Он напомнил ей ту историю с веером. Припоминаешь? Еще бы! Галочка не помнила имен, лиц. Перед той первой несправедливостью, которую она годы и годы будет сравнивать с другими наплывающими несправедливостями, ярко выделялись только два

велосипеда «школьник», шуршащая темнота в ку-стас за домом и щипучие дорожки слез на щеках. Так вот — это же Кешка, а Рудика пришлось стать посланником доброй воли и вернуть потерю девочке, пойти против товарища ради блага. И даже подраться с другом.

Кешка тогда ничего не понял. Галка перестала его замечать, а Рудик где-то пропадал вечерами и днем светился тайной — единственно ему принадлежавшей и сладостной. А накануне выпускного вечера девочку внезапно увезли на дачу, не дожидаясь отъезда в лагерь. И Галкина мама потом долго не здоровалась с соседским мальчишкой, как специально тем летом попадавшим ей на глаза. Однажды не выдержала, остановила Кешу у подъезда: «Ты, значит? Мы ведь не знали, что ты. Никогда она тебе веер не простит». И Кешка спросил у Рудика, разве же так можно? Разве так бывает? Рудик, ничуть не смешавшись, ответил: «Ты все путаешь, Кеша. Это я тебе говорил, девочка забава. Это я отнял веер и накостылял тебе. Ты забыл».

Экзамены Кешка сдал лучше, чем ожидалось: все на отлично. И дома ничего не знали о той злости, той боли, что его подгоняла. Но в институт поступать отказался. На три месяца подрядился в археологическую экспедицию и уехал на полевые работы под Архангельск, подальше от Москвы и Евпатории. А Рудик, не без хлопот попав в отдельный список, набрал проходной балл и был зачислен на первый курс столичной «керосинки».

Чередой непредвиденных странностей происходят некоторые события в жизни. И сразу даже не разберешь, не заметишь, а спустя время задумаешься и отыщешь вдруг в том неотменимую заданность. Чекмаревы и Рославцевы, как съехались в один год на Преображенке, там и разъехались в один год: Рославцевы перебрались на Беговую, к Ипподрому, а Чекмаревы — в Замоскворечье. И случайных встреч не искали, а все же именно случайно Кеша столкнулся с Рудиком на выходе со станции «Белорусская». В подземном переходе бойко шла торговля, сновал народ по своим надобностям. У лотка с пучками вербы Кеша сбавил шаг, приценился и тут услышал знакомый занозистый голос. Хотел было проскочить, не заметить. Но самому трусостью показалось — от друга бегать. Подвыпивший Рудик горлопанил с двумя парнями, из-за спин которых, любопытствуя, выглядывали две размалеванные малолетки. Кешка возвращался уже из третьей своей экспедиции и как какой-нибудь завзятый степняк — геолог или археолог — загорел, выгорел

волосами и оброс бородкой, которая шла к лицу. Девчонки придвинулись ближе, уже заглядываясь на бородачу с рюкзаком. Хмельной разговор парней с Рудиком накалялся с каждым словом и враз перерос в драку. Рудик ударил первым, почувствовав подкрепление. Кеша скинул рюкзак на заплеванный пол и тоже вступил. Пошли крики, мат, визг. Пешеходы чуть задерживались, замедляя шаг, приглядывались, но не останавливаясь, бежали дальше — пьянь, сами разберутся. Малолетки сбежали первыми. Потом по одному исчезли парни, последний — отбежав и с расстояния грозясь кулаком: «ну, приди ко мне на прием». Рудик и Кешка, запыхавшись, сидели на корточках напротив старушек, торговавших с ящиков.

— Чем это он пугал?

— Медик он. Эх, Кеха, это ж слабаки... Дай я ты поцелую. Помнишь, какой на «Алмазе» махач был?

— Да, коньки к бортику и вперед. А с чего ты с этими-то?

— Да, с девочками-медичками познакомился, а они вроде как заняты уже. Ну, девочки так себе... дрянь девочки. Женихи их тоже шваль. Как Галочка?

— Я почему знаю. Не с тобой разве?

— О, Кеха! Мне пора, вспомнил, зачет завтра. Давай, брат, до встречи.

— Погоди!

Рославцев еще не успел с карачек разогнуться, а Чекмарев уже скрылся за чужими спинами. Когда Кеша выпрямился возле стены, подтянув рюкзак за ляжку, в глазах вдруг потемнело. Провел рукою под рукавом. На руке кровь, куртка рассечена тонким разрезом, рукав свисает, а подмышкой щиплет так неприятно. Бритвой, что ли, полоснули, женихи чертовы? Побрел на ватных ногах до больницы у ипподрома. А одна из бабушек сунула ему в руку вербу: «С праздничком, милоч!»

3

**Д**ождь припустил. Маруся Петровна в офицерской плащ-палатке выходила из станционного домика на переезде и высматривала, не развиднеется ли на западе. Она ждала скорый в 7:10, а там уж прибудет электричка на 7:20. Петровна, как всегда, приготовила отцу Ефрему калоши. Ведь и нынче не станет дожидаться автобуса, усупый, через поле напрямки поидет. А грязь-то непролазная на завывбели. И почто его Петр Петрович вызволил. Чего там в поселке могло содеяться...

Пронесся без остановки скорый. Просигналил семафор. Поднялся шлагбаум и спуска положенное время опустился. Ранняя электричка посадила на полустанке всего одного пассажира.

Дождь как взъярился. В белой обложной пелене к станционному домику подошел человек в длинном болоньевом плаще с капюшоном, не заходя в дом, под козырьком надел калоши. Встречавшая женщина сняла с себя плащ-палатку и протянула гостю, тот, не взяв в руки вещи, замотал головою и поспешно вынырнул из-под козырька под струи дождя. Женщина вслед ему кричала: «Завору возьми». Но человек, кажется, ее не слышал, идя напрямки через поле.

Петр Петрович вторую ночь не спал. А тут под утро вдруг уснул сладко, должно быть, дождь сподобил. И снилось, как его босого, в исподнем, с завязанными бичевой руками, пихают прикладом в плечо, ступай, мол, вперед на десять шагов. И за спиною затворами клацают. Петр плечо выворачивал из-под ледащей руки, а его снова пихали. А подскочив вдруг, понял, утренний сон — неверный, обманка, а будит его отец Ефрем.

— Батюшка, проспал вас! Вот на минуту забылся... Да что ж вы в такой дождь-то... Уж дождалась бы попутки какой.

— Откуда попутка? Чаю бы, Петр Петрович, нельзя разболеться. Да и рассказывайте, что за срочность. Только я в город... и вот пришлось дело Крошевого на полпути бросить.

— Не нашли?

Священник только головой мотнул.

— Чаю это вмиг мы, с малиновым листом, с облепихой... А случай тут самостоятельный, дознанья требует.

Дождь выстукивал морзянкой в ставенки. Пили чай на выцветшей, но чистой скатерке. В обстановке виделась чистоплотная женская рука и добротная, хозяйственная мужская: все подкрашено, свежевыбелено, прибрано. Едва допили по второй чашке, с малиной и медом, как под окнами захлюпали буксующие колеса легковушки. Водитель отрывисто просигналил. Хозяин, еще не откинув занавеску, усмехнулся: «Сигналы SOS подают, однако».

И уже заглянув в окно:

— Да, к нам Папа Римский на папа-мобиле или сам губернатор, не меньше.

— Откуда такие персоны в наших краях... Идемте, может, помощь требуется.

— Сидите вы, сушитесь. Я сам.

Через пять минут, чертыхаясь, отфыркиваясь, оставляя мокрые следы на полу, на терраску вошел пассажир машины.

— Ну и захолустье... а ведь под Москвой. У вас всегда тут такие погоды? — спросил гость хозяина в дверях комнаты.

— Погоды у нас разные. А вы куда направляетесь? — поинтересовался Петр Петрович.

— Деревню ищу. Замогильцы.

— Так почти приехали. Мой дом на отшибе, с полкилометра осталось. А чей будете?

— Не местный. Никола?

— Ээ... Спаситель!

— Гм... А ты, старик, в хату зови, рюмку налей, чего в дверях держишь?

— Проходите.

— Рославцева Иннокентия ищу. Знаешь такого?

— Здравствуй, Рудик.

Навстречу гостю поднялся священник в облачении. Обнялись крепко под недоуменным взглядом хозяина дома. Но хозяин быстро нашелся, достал третью чашку и рюмку под рябиновую настойку.

— А ты будто и не удивлен, Кеша. Будто ждал меня.

— Не ждал. Но и не удивляюсь.

— Я проездом в столицу. И что-то вдруг прямо подмывает с дороги свернуть, тебя повидать. За чем... Думаю, ну, выясню-ка.

— А в Москву надолго?

— На неделю, а может, и скорее.

— Я только оттуда сегодня. Дела не кончил.

— Едем вместе. Сейчас мой безрукий откопает транспорт. Ну что, по первой?

— У меня и тут неотложно. Как ты? Чем живешь?

— Как нельзя лучше. Бизнес во Пскове. Крупный. Развиваюсь. Все схвачено.

— А я рядом бывал, в Лавре, да к тебе не собрался.

— Слышал про сан твой.

— Петр Петрович, а вы что же? Как-то без хозяина неправильно.

— Сидите, сидите. Я за шофером схожу.

Водитель уже и сам заглянул с террасы в комнату.

— Хозяин, мил человек, не будет ли пары досок. Увязваю...

— Да ты, сынок, брось на гашетку давить. Страсть эта через час угомонится, наладим тогда. Чайку с нами. Весна ознобная.

— Семеркин, там чаю попьешь. В сенях.

— Ты что это тут распоряжаешься, товарищ? У нас так не полагается. Садись, паря, вот кружка, вот кипяток. Вот и пирог с кроликом. Маруся Петровна на дежурстве, с вечера заготовила.

Когда четверо мужчин закончили ранний завтрак, допив чай с пирогом, дождь растерял свою силу, но еще частой слабой сечкой сыпал на землю. Чекарев кривился в сторону Семеркина. Семеркин горбился, пил чай, не поднимая глаз от чашки.

— Вы же знаете, я в сторожах тамошних. А комендант ихний, ох, вредный мужик, проводил осмотр. Ремонт затевают, отдыхающих встречать вот-вот. В подвале ремесленного трубы прорвало, как на грех. Стали стену вскрывать и попали в комнатку без дверей, без окон с нишей. А он там и лежит.

— Как в кубикеле...

— Кто лежит?

— Рудик, тут Петр Петрович в княжеской усадьбе...

— Бывшей... У Гагариных.

— На необычную находку набрел.

— Вот че у вас в деревне деется, клад, не иначе...

— А вы не смейтесь. Стал бы я из-за клада отца Ефрема беспокоить. Тут помощнее будет. Благословите, батюшка, дальше рассказывать.

— Говорите, Петр Петрович.

— От усадебных зданий только пристройка бывшего ремесленного училища осталась. Там в красном занавесе крест лежит... здоровый... вот с меня ростом и поболее даже. Укутан младенчиком. Я перепугался, что комендант на свалку выкинет. Ну и бросился звонить, искать. Вы в город, говорят, отбыли.

— Ты что же, старик, запросто из-за креста священника поворачиваешь...

— Не понять вам. А вы, батюшка, простите Бога ради.

— Все правильно сделано. Спаси Господи за чай. Дождь, похоже, на убыль пошел. Надо идти мне.

— Куда?

— В усадьбу. Выкинут ведь и впрямь санаторские-то.

— А может, в Москву со мною? Домчу представительским классом.

— Тут дела неотложные. Крест себя обнаружил.

— Это как в старину клады сами вскрывались.

— Прощай, Рудик.

— Заводи, Семеркин! Дед, а наливка у тебя — дрянь...

Через четверть часа машину вытащили из ямы. Причем водитель газовал, а трое мужчин, один из которых высоко подвязал ряску, толкали, утлая в жиже. «Майбах» резвился, делал вид, что

тужится, пыхтел, выкарабкивался, брызгал грязью на пассажира в лаковых ботинках, но, взглянув на побагровевшее от натуги лицо попа, крутанул колесами и легко выбрался на твердую почву. А еще чуть погодя Семеркин повернул автомобиль в сторону трассы Москва — Псков, гнал и вслух причитал, не стесняясь, стесняться некого было: «Прихотью живут. Шляя под хвост. Туда, Семеркин, сюда, Семеркин. Живых людей как пупсов. Так и до аппендицита... А все ж и в нелюдях человеческое не отмирает. Отпуск дал в две недели. Успею. Вот в Опочку заскочу, поклонюсь. И домой».

«Майбах» бежал послушно, легко разбивая дождь, чуть сожалея о недостигнутой столице. Колеса крутили вперед, но в сущности отматывали путь назад. Казалось, съездили впустую, высидели балласт и налегке восвояси. Бессмыслица.

Часам к десяти утра трое подошли к воротам усадьбы. Уже солнце ползло вверх, не обещая яркого дня. Уже грязь подсыхала до белого на калошах, ботинках и сапогах. Но мокрые березы в аллее щедро сыпали на прохожих тяжелые капли с первой листы. У входа в подвал обветшалого здания курил сантехник. Его тут же послали за комендантом. И втроем спустились в темноту ремесленного. Когда Петр Петрович, пробравшись на место, шурша подошвами по кирпичной крошке, стянул ветхую тряпку, в вялом лучике фонаря показалось Распятье. Открылся Лик Христа и усталое тело с четырьмя отверстиями.

— Пулевые.

— Навылет.

— Мало копы и уксуса. Еще и расстрелять надо?!

— А вы чего шепчете?..

— Волосы на руках вздыбились...

— А труба-то в стене, как в храме, с набивкой... клеймо лозы виноградской...

Комендант не соглашался отдать находку священнику. Уперся — собственность санатория, поставим в холле для привлечения контингента, подмалюем, законопатим дыры, легенду придумаем. Сторож разругался с комендантом, священник побледнел и приуныл. В стороне на перевернутых деревянных ящиках молча курили сантехник и пскович в шевиотовом костюме. Докурив, Рудик вызвал коменданта на переговоры. Вдвоем ходили под березами, то и дело утирая с лица подтеки капель. От входа за ними испытующе следили сторож, сантехник и священник. Вода ржаво сочилась из трубы.

Через четверть часа комендант деятельно распоряжался, как протащить Распятие в узкий проем,

как грузить, на чем доставить к церкви Сошествия Духа Святого. И тут все сложилось само собой, будто намеренно чудесным образом. Подъехала «газель» с новыми трубами из Софрино. Вместе с водителем — пареньком в бейсболке — сверху тех труб вчетвером погрузили крест. Комендант командовал с деревянного ящика: заноси левее, вира помалу. Сантехник третью курил, ожидая команды приступить к ремонту. А новые трубы вдруг повезли прочь от санатория. Псковский гость совал водиле деньги, но парнишка сказал, что Христа повезет бесплатно. В кабину «газели» подсадили сторожа, закрепили по бортам брезент.

Подскакивая на ухабах, Петр Петрович бормотал что-то себе под нос. Заметил любопытный взгляд шофера.

— Душа взыграла. Не поймешь ты.

И принялся уже не шепотом, а громче петь: «Воскресение Христово видевше, Кресту Твоему поклоняемся». Подъезжая к храму, пели уже вдвоем низкими голосами: «Прииде Крестом радость всему миру».

— На клирос бы тебе, сынок. А подвеска жесткая...

Отец Ефрем в плаще и Рудик в кепке сторожа пошли от усадьбы до храма пешком, аллеей березовой, дубовой, по-над прудами. Кеша снимал с себя плащ. Рудик не принял. Вдоль дороги несколько санаторских зданий-коробок стояли еще с заколоченными фанерой окнами, с подтеками по фасаду, с пробивавшейся травой на козырьках подъездов.

Дождь усилился, перечеркивая тусклое солнце.

— Красивая была у князя усадьба...

— Так один хозяин, а теперь — каждый.

— А ты чего скобарем заделался? Столицу бросил...

— Там я на виду, а в Москве твоей что?

— «Архирейку» помнишь?

— А как шиповник оборвали? Тетка с первого за нами на пятый гналась...

— Да, а твой отец еще на следующий день ей гвоздики купил.

— А как варом обварились, когда на гаражах толь меняли...

— А как с алмазовскими лупились?

— Не ушло никуда.

— В нас осталось.

— Кстати, а как ты уломал коменданта?

— Опыт переговорщика и хватка снабженца.

— Знаешь, а тебя узнать трудно. Жирком оброс, шевелюру растерял. Глаза злее смотрят. Только голос прежний, не спутаешь.

— А как же ты функцией заделался?

— Не функцией, а проводником.

— Есть разница будто... Ты стал, кем хотел?

— Хотелось бы думать.

— В такое захоlustье забраться... Замогильцы... в мунькину задницу. У меня окна на Кремль. На Довмонтову башню.

— После семинарии на выбор приход предлагали. В Бескудниково, в Мытищах и в Бронницах. А я как на Аполлонову горку попал, как пруд Иорданов увидел...

— Дурак, в Бескудниково надо было брать.

— А ты впрямь уверен, я был бы там счастливей?!

Кеша смеялся громко, заливисто, закидывая к дождю лицо. Над Рудиком уже давно никто не смеялся так открыто в его присутствии. Сначала обида взыграла, но тут же что-то из «болезного», оппортунистического согнало обиду, и он рассмеялся вслед за другом. И смех — легкий, беззаботный — был откуда-то из прошлого, полузабытого.

И все же не удержался:

— Говоришь ты, Кеша, молодым голосом, а смешок-то у тебя старческий, как у скопца.

— А я и есть скопец.

Мокнув и вспоминая одно за другим, добрались до места. «Газель» встретила им еще на подходе к сторожевым башенкам церковной ограды. Водитель посигналил, машина на малом ходу проехала по грязи, не обрызгав, грохоча о борта трубами. В мигнувших фарах слабо высветился косой наклон дождика. Петр Петрович уже организовал разгрузку и бегал, вслух причитая: «Большое дело сделали. Большое дело».

Храм встретил гулкостью и малыми огнями у лампад. Едва наладили в угол придела Распятие в линиях кумаче, как на церковный двор вбежала Симочка. От сырой шерстяной кофты словно пар шел, платок с люрексковой нитью съехал на бок, выпустив на лоб седой клочок.

— Батюшка! Нашелся Крошевой-то.

— Где нашелся?

— В морге.

Симочка — давняя прихожанка храма — старушка лет под семьдесят. За бойкий нрав, вездесущность, одиночество люди за глаза звали ее Христовой невестой, вековухой, а в глаза — просто Симочкой. Была Сима из рода Айгининых — последних владельцев имения перед Переворотом. Айгинины с Крошевыми в дальнем родстве и в вечной вражде. Айгинины скапливали, Крошевы раскулачивали.

— Прощай, Рудик. Ты автобуса дождись, в четыре тридцать идет.

— А ты?

— Я по прямой. У станции линейное отделение, там и морг рядом.

— А по прямой сколько?

— Километра четыре будет.

— Можно же в селе машину найти?

— Я уж без механизмов. Сам должен до всего ногами дойти. Идешь морозцем по полю. Еще полумрак. Еще тишина. И ты один и не один. Дорога к храму. И солнце над головою. И думаешь, где Бога больше, в небе или в человеке? Да и привык я. Фактор существования, одушевленности, понимаешь? Автобус ходит, недавно маршрутку пустили. А я и сейчас, как прежде, пешочком. В первый год, бывало, придешь в храм, а там пусто. Служишь литургию — никого. Звонишь, звонишь — никого. Отчаивался. А потом как-то слышу вторит мне голос: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще», поворачиваюсь, а сзади стоят двое — пара, муж с женою — Петровичи. Так и пошло. Сейчас на празднике не протолкнуться...

К станции двинулись втроем: впереди отец Ефрем и Рудик, позади семеняла запыхавшаяся Симочка. Священник останавливался, поджидал старушку. Чекмарев морщился, глядя на матовые под грязью ботинки, на хромающую тетку и на небо в тучах. Дождь не прекращался, то шел, то не шел, ничему не мешая. И без него, и под ним шло время, брезжило солнце, пробегали поезда, отрывисто за лесом причитая, как улетающие зимовать журавли. Дождь не мешал даже людям, идущим через поле к «железке». Его мелкая рябь не отвлекала их от того, что заставляло тащиться в мокрядь.

— Далеко еще?

— Вот чего ты увязался?

— Хочешь, анекдот расскажу? Встречаются стартапер, блогер и рэпер...

— Чего тебе тут в нашем возиться-то?..

— Тащит за тобой. Знаешь, соврал я. Гробят мой бизнес... Но я еще поборюсь.

— Боремся мы только с собой. А сами — в дружки руки отданы.

Плелась за ними старушка, ускоряя шаг и все же не поспевая. На ходу никак не могла связать мысли, они рвались на клоки, но не сшивались в лоскутное одеяло, сбивались, возвращались назад, пихаясь, толкаясь друг с другом, как случайные пассажиры в узком тамбуре электрички. «Гошка-то Крошевой, Гошка-то...» «На третий день хоронить...» «Суббота, воскресенье, понедель-

ник...» «Куды пропал? Куды понесло?..» «Станет ли батюшка отпевать?..» «Суббота, воскресенье, понедельник...» «Три дни». «Отдадут тело-то?»

А тело не выдавали.

Мужчины вдвоем дошли до места. Оглянулись. Симочка ковыляла еще метрах в пятидесяти. Рудик смахнул ладонью крупные капли и сел на мокрую лавку, ноги подгибались. Отец Ефрем перешел через переезд, шагом легким, пружинистым, будто не проделал только что путь в четыре километра. В бочке под стоком воды на углу стационарного домика вымыл калоши и аккуратно поставил на ступени под козырьком. И прежде чем Маруся Петровна вышла на крыльцо, уже перешел по переезду обратно. Рудик едва успел свербящий вопрос задать чудаковатой старухе, присевший с краю:

— Женат он?

— Гошка-то?

— Поп.

— Вдовец.

Смотрительница в окошко разглядела на лавочке двоих — Симочку да незнакомого мужика — и третьего, тревожной походкой подходившего к ним, — священника. Вот трое стали удаляться в самый конец платформы, и вскоре забрызганное дождем оконце потеряло их из виду.

У линейного отделения милиции под зонтами жались родственники Гоши Крошевого: бывшая супруга, сестра и брат двоюродный. Их уже не впускали внутрь после ссор, жалоб, криков и двух водворений из участка. Тело не выдавали потому, что накануне жена пропавшего Крошевого не опознала бывшего мужа в мертвом, предъявленном ей для опознания.

Отец Ефрем решительно прошел мимо закутка дежурного. Впрочем, за стеклянной перегородкой никого не оказалось. Повернул в узкий аппендикс. В длинном полутемном коридоре снова никого. За попом двинулись и остальные: первым Чекмарев, потом Симочка и трое родственников. Проходя, все по очереди поворачивали головы на звук журчащей воды. В открытую дверь виделась туалетная яма, как в старых придорожных вокзалах, с загаженными пупырчатými платформами в полу, ржавыми подтеками по стене, с неостановимым клокотанием безостановочно льющейся воды и неистребимой вонью давно не чищенной выгребной ямы. Через две запертых двери третья от туалета оказалась незапертой. Так вшестером и набились в предбанник, а затем вошли на голоса в кабинет начальника отделения, где за столом со стаканом водки в руке сидел хозяин кабинета, а на



приставном стульчике, спиной к двери, и тоже со стаканом, ерзал, по-видимому, дежурный.

Начальник сначала выпил, занюхал сыром, отложил кусок обратно на тарелку и потом поочередно стал осматривать вошедших. Женщины без приглашения уселись на стулья вдоль стены. Мужчины остались стоять.

— Вот с ним говорить буду. — Начальник пальцем указал на священника. — Остальные кругом аршшь!

Отец Ефрем глазами показал: выйдите. Рудик шепнул: я за дверью. Дежурный выскочил первым, прихватив сыр с тарелки.

— Нам бы только убедиться, он, не он. Неделю человека ищем, — упрашивал отец Ефрем. — В столицу ездили в розыск подавать.

Начальник предложил священнику выпить. Спокойно принял отказ и взялся объяснять, что эти три стервозные бабы — две родственницы и полоумная из деревни — со вчерашнего вечера замордовали отделение и врачей при районном морге. Что вчера им предъявили их пропавшего, но они от своего мертвеца отказались, не такой, мол. А нынче вот требуют его обратно. Что начальника теперь, в нерабочий день, застали тут случайно, что он просто заглянул с проверкой несения службы своими подчиненными. Что без врачей открывать морг не положено, ключи у него есть, добавить мертвецов имеет право, а убавить не имеет. Но перед служителем церкви поднимает руки — и вправду поднял, будто сдаваясь в плен.

Когда вышли во двор, увидели истончившийся дождь, поникшие, сморщенные зонты в руках у толпившихся перед входом в здание морга. Десять шагов до полуподвала майор шел, будто преодолевая полосу препятствий. Каждая лужа заставляла его группироваться, настраиваться, делать бросок, и зачастую он попадал мимо сухого островка, прямо в эпицентр разлива.

— Не положено! Нарррушение!

Родственники, священник с товарищем и двое полицейских, выстроившись кружком, стояли в метре от двери с чугунной перекладиной и навесным замком. Галдели, рядились, гомонили, упрашивали, упирались, спорили, переходили на крик, матерились, затихали, снова переходили на крик, но дверь так и оставалась запертой.

— Не положено! Нарррушение!

В какой-то момент общий гомон взял такую высокую ноту, что остановить его казалось невозможным: дальше только драка, мордобой. И тут вдруг Рудик по-командирски завопил вовсю глотку: «Молчать! Всем молчать!» И возникшая тишина до каждого долетела. Услышали писк воробышки

с ближайшей осыны, радующегося передышке в ненастье и слабому солнцу. Начальник загремел засовом и ключами:

— Кто пойдет?

— Я.

Со света в полумрак входит тяжело, да еще в нос ударяет сладкий настоявшийся дух. Майор сам не спустился в подвал, только нашарил рукою выключатель. Зажглась лампочка под потолком, но мерцание ее, пыльное, чахлое, не особо прибавило свету. Отец Ефрем осторожно спустился по ступеням. Основное помещение морга располагалось, по-видимому, справа, там, через распахнутую дверь, тоже виднелись два фитилька под сводами. Мертвым людям были напиханы оба отсека покойницкой, и в первом, не приспособленном для хранения, трупы накидали вповалку. Чтобы продвинуться и оглядеться, приходилось шагать через лежащих на полу. Кеша заносил ногу и думал, что сейчас его схватят за рясу, за брючину, за ботинок, рассмеются и скажут: все, хорош, будет, пошутили и хватит, вставайте, братцы. Но никто не вставал. И почти сразу, после двух-трех перешагиваний, он увидел своего мертвеца.

Крошевого, перееханного скорым поездом и найденного прошлым днем на путях, за неимением места сложили компактно, аккуратненько так, подсунув нижнюю половину под верхнюю. И выходило, будто из груди у того сразу росли ноги, а таза и живота видно не было. Будто здоровенный мужик сделался карликом. Отец Ефрем всмотрелся в лицо своего прихожанина: нету покоя, скорее, мука и зывание жалости. Разглядел одежду. Одет точно как на той, последней фотографии, что расклеивали на площади трех вокзалов. Думали, подался в столицу. А он и не уезжал никуда. Где-то тут, рядом бродил или скрывался. Или скрывали. Батюшка заметил один ботинок на ноге, поискал глазами, другого ботинка рядом с телом не оказалось. И стал осторожно, тем же путем, перешагивая через вечных соседей Крошевого, выбираться наверх, на свет, на воздух.

Дверь за ним гулко захлопнули, щелкнув выключателем: покойникам свет не требуется. Мужчины курили, женщины снова стояли под грибками зонтов. Дождь лениво накрапывал. Все вопрошающе уставились на священника.

— Ваш?

— Наш.

— А я что говорю? Холеры...

Сестра и жена заголосили. Брат отвернулся к осинам.

— Сподобится погребению, батюшка? — Симочка принялась креститься. — Сподобится?

— Вам бы передохнуть надо, заболаете. Идите к Марусе Петровне, обсохните.

— Жмурика своего — самоубийцу — в рабочий день забирайте, когда врачи будут.

— Ботинок на нем один.

— Так и нашли, в одном.

— Самоубийцы в одной ботинке не ходят.

— Тащили?!

— Да без разницы. Нету человека.

— Церкви в том великая разница. Да и родным тоже...

С родственниками Крошевого распрощались до понедельника. Повели заскулившую Симочку в дежурку к Марусе Петровне. А там уже их ждет известье. Дежурной передали по связи: на том полустанке, где накануне обнаружили Гошкино тело, кассирша нашла в кустах мужской ботинок, носовой платок в засохшей крови и ключи.

— Куда ты?

— Туда мне теперь. И к вечерне не опоздать бы.

— Вот в 15:20 пойдет проходящая, там не останавливается, а в 15:55 с остановкой. Вот на ней бы вам, батюшка.

— Прощай, Рудик. Давай на ближайшую до Москвы.

— Нечего мне в твоей Москве... Когда поезд на Псков?

— Отсюда в Псков не уедешь.

— Я уеду!

— С Богом!

Сидели на пустых перронах напротив друг друга.

Друг против друга.

Один, теребя кепку санаторского сторожа в руках, размышлял, что в сущности отсчет жизни есть отсчет смерти, что никому не дано видеть с точностью до дня свой срок, свой путь, что жизнь Крошевого закончилась так бегло, так вдруг. А еще вчера его фотокарточки развешивали на перронах трех московских вокзалов. И про-

хожих расспрашивали: не видели ли такого... А человек, похоже, был уже мертв. Все зря... Зря ли? Мы никогда ничего не узнаем. А другу что же сказать? И стоит ли разбирать, что есть у нас с тобой общего, что своего и что есть Божие. И Божие станем отлагать на Божию часть, а свое оставлять при себе. Вот что останется при нас, если только останется, вот только то и наше. Да стоит ли ему говорить? Ушло все.

Другой, уже забывший про туфли, отиравший мокрую лысину ладонью, силился разгадать, что все-таки заставило его самого выпрыгнуть из сытой, понятной жизни и таскаться целый день за попом по непогоде. Столько лет... А все оглядываешься назад, все думаешь, ну что Кеша, уел я тебя? Сделал? Все так срослось, переплелось, так запуталось, как будто с детства и до кончины двое уже не отдельные люди, а нераспутанный ворох двухцветной пряжи. Как будто не могут существовать, чтобы не оглянуться, не свериться, не соотнестись. И выходит, нет связи между мужчинами более запутанной, чем детская дружба. С малых лет соперничество, борьба, завидки, состязание, противоборство и готовность за друга встать в темной подворотне навстречу сверкнувшему лезвию.

Дождь нагнал.

А когда из-за поворота послышалось близкое скрежетание железа, нарастающий гул и преждевременно вскрикнула прибывающая электричка, Кешка вдруг вскочил с лавочки и с края своей платформы стал кричать, пока еще Рудик слышал:

— Скоро лето. Лето примиряет человека с жизнью. Галя любила лето. Знала, что ты приедешь. Простила. Просила привет передать.

Электричка длинно затормозила, перед переездом взвизгнула и встала, раззявила двери, впуская в свое чрево пассажиров. Из открытой двери выглянула голова машиниста на пустой перрон. Состав дал малый ход в город.

Дождь наседали.